

Мёртвый язык

Глава 1

В тени «Незабудки»

1

Если бы не расшитая бисером шапочка-таблетка, полосатые носки и стоптанные кроссовки, молодого человека, уверенно шагающего по солнечной стороне улицы Марата, следовало бы считать совершенно голым. Пушка на бастионе только что отбила субботний полдень, и солнце в решительном соответствии с местом и временем освещало терракотовый тротуар, прилепленный к фасадам домов с нечётными номерами. Воздух с лёгкой подмесью матовых дымов был почти недвижим, оконные стёкла отбрасывали радостные блики, а небо над городом, полное чудесной пустоты, лишённой не то чтобы смыслов, но самой идеи об их поисках, сияло такой пронзительной синью, что, попадая в глаза, делало им больно. Молодой человек шёл от Невского в сторону Семёновского плаца, соблюдая непоколебимое достоинство и смотря на окружающий мир с благородной надменностью, как царь на еврея.

Было довольнолюдно. Прохожие неодобрительно косились на безмятежного мерзавца, иные улыбались, иные демонстративно его не замечали; барышни прыскали в «сименсы» и «нокии», делясь событием с подружками, самые бойкие моргали встроенными в трубки объективами; проезжающие мимо авто то и дело озорно клаксонили. Гражданин, завтракавший у торговой палатки «Теремок» сложным блином в бумажном конвертике, от неожиданности пролил себе на ботинки дымящийся кофе.

Первым, кто по служебной частоте раздёрганного на волокна эфира сообщил о происшествии в милицию, был постовой из стеклянной будки возле дверей генерального консульства Швейцарии. Вторым — постовой, дежуривший у венгерского консульства. Стёкла их будок были густо тонированы, отчего люди на улице казались слегка копчёными.

Молодой человек между тем шёл себе дальше, так что оперативно выехавший из 28-го отдела милиции на бежево-синем «уазике» наряд настиг возмутителя спокойствия только между Свечным и Кузнечным, около магазина «Мясной домъ», куда искушённые гастрономы ездят за бараниной даже с Фонтанки. Задержание прошло без мордобоя — в рабочем порядке, с профессиональными прибаутками, какие милиционеры всегда имеют при себе в достатке, чтобы не казаться друг другу скучными. Улицу Марата наглец преодолел в лучшем случае на треть.

Напротив «Мясного дома», в третьем этаже здания с двойным номером 36-38 (должно быть, в незапамятные времена здание, как увесистый зад, разом покрывший пару стульев, заняло место двух прежних), располагалась мажористая митьковская галерея. Миновав сварную решётку, отделявшую территорию искусства от пыльного мира людской тщеты, по лестнице спускались парень и девушка.

— Смотри-ка, — сказал парень, выходя из парадной на улицу, — черти братушку вяжут.

— Ой, голенький! Как после линьки, — оживилась девушка, член студенческого научного общества при кафедре зоологии Педагогического университета.

Обсуждения события хватило им на одну неторопливо выкуренную у дверей парадной сигарету, после чего парень подумал о том, что стервы бывают очень даже привлекательны, особенно когда молоды и ещё не знают, что они стервы. Эта мысль вытянула за собой другую. «Великое блаженство, — подумал парень, — и великое зло, как правило, приходят к нам из одного источника».

Спустя десять минут после водворения порядка застеклённый постовой при швейцарском консульстве снова увидел голого человека. Этот был чуть полнее первого, с бледной полосой от плавок на загорелом теле и в сандалиях на босу ногу. Из ушей его свисали провода, а на узком пояске, шлёпая через каждый шаг по тугому бедру, болтался плеер. Злая старушка в фетровом берете с налипшей на нём кошачьей шерстью что-то шипела вслед охальнику, но тот, разумеется, ничего не слышал.

Милицейский «уазик», едва успев разгрузиться в сквере на углу Марата и Звенигородской, где в двухэтажном домике, выкрашенном в ядовито-канареечный цвет, размещался 28-й отдел милиции Центрального района, тут же выехал по новому сигналу — недра упаковки сотрясал, настораживая

прохожих, раскатистый неуставной хохот. Что ж, на фоне постылых криминальных будней дело и впрямь выглядело весёлым.

— Может, в Невских банях пожар? — предположил мордатый шофёр с сержантскими лычками.

Сослуживцы встретили версию дружным смехом.

Второго нарушителя общественной нравственности, в голове которого звенела неведомая музыка, задержали у обувного магазина «Докерс». Как и первый, он не предпринял ни малейшей попытки к бегству. Злоумышленнику ловко завернули ласты и щадящим пинком подсадили в задок весёлого «уазика».

Парень и девушка, не успевшие дойти даже до Свечного, с интересом наблюдали явление с противоположной стороны улицы Марата. Ясное дело — в течение десяти минут встретить в городской толпе двух голых людей доводится не каждый день, а значительно реже. Практически никогда. Поговорив немного о том, в каком режиме следует повторяться случайности, чтобы она обрела статус закономерности (девушка щедро пересыпала свою речь доводами биологической науки), парочка свернула на Свечной и двинулась в сторону узорчатой решётки садика Сан-Галли — там, в глубине, за деревьями и детской площадкой, гремел битами неслышный отсюда городошный турнир. Глядя на влажные губы спутницы, парень подумал, что счастье заключено вовсе не в исполнении желаний, как считают одни, и не в их смирении, как считают другие, а в самом их наличии.

Третий сигнал ни у кого из дежурного состава милицейского участка приступа остроумия уже не вызвал. Забрав очередного злодея (тоже в сандалиях, хотя и без проводов в ушах; зато на носу — круглые солнцезащитные очки с синими стёклами) возле ИНЖЭКОНа, где его, стыдливо прикрывая рот ладошками, с неодолимым любопытством разглядывали абитуриентки и вышедший покурить охранник музея Ф. М. Достоевского (его сегодня в семь тридцать утра внутренний голос предупредил о вероятном событии и не обманул), наряд на всякий случай заехал в Невские бани. Языки пламени не рвались из окон, хлопья гари не носились в воздухе, клубы дыма не застили небо, голый люд, пряча срам за шайками, не толпился у входа. Бани были давно и тихо закрыты на переустройство — как бражник в куколке, внутри ветшающего здания вызревал новый торговый центр с пёстрыми крылышками от кутюр.

Неподалёку, правда, ещё располагались Ямские бани...

Обернувшись от заколоченных дверей к улице, блюстители закона первым делом увидели идущего мимо палатки «Теремок», где правила вечная масленица, голого человека, на голове которого, глубоко надвинутая на глаза, сидела форменная милицейская фуражка. Это было уже слишком.

В обезьяннике, оказавшись в компании четырёх обнажённых мужчин, присмирел даже буйный поначалу пропойца, пристававший на Семёновском плацу к гуляющим с колясками молодым мамам. «Нет такого закона, чтобы не приставать! — бился он ещё недавно грудью в решётку обезьянника. — До вечера можно где хочешь приставать! Я даже на Невском пристаю!» Теперь он тихо сидел в углу и обиженно сопел в две дырочки. Но что алкаш — рядовой случай, другое дело остальные заточённые — они, как назло, оказались совершенно трезвы, и что с ними делать, было решительно неясно. Для одного ещё, пожалуй, можно было бы вызвать санитаров, но на такую шоблу... Это пахло пандемией. По большому счёту, их нечем было даже прикрыть.

Парень с девушкой в это время стояли у проволочной сетки, ограждавшей городошную площадку в зелёном садике Сан-Галли, и смотрели, как весело разлетаются рюхи под меткими бросками игроков. Отгоняя ладонью обнаглевшего в тени столетних тополей и лип звенящего вампира, парень подумал, что комары и слепни только для того и существуют, чтобы напоминать нам, что мы не в раю. Девушка тихонько напевала:

Насладиться — мёду нет,
Исцелиться — йоду нет,
Отравиться — яду нет...

«Тяжело на свете бедному Юсупке», — на свой лад мысленно закончил куплет парень.

Пятого наглеца взяли возле Ямского рынка, где он произвёл переполох среди высыпавших на крытую уличную галерею кавказских и туркестанских фруктово-овощных коммерсантов. Черноглазые женщины, не то от негодования, не то от восторга, но точно не от смущения, резко вскидывали руки и гортанно вскрикивали, джигиты с бабаями, почёсывая в паху и задирая небритые подбородки, бесцеремонно хохотали. Голый, однако, ничуть не смутился. Напротив, демонстрируя силу русского духа, он повернулся к зрителям задом, согнулся и произвёл звучный выстрел из сво-

ей природной пневмопушки. Поражённые раблезианским жестом, торговцы позабыли государственный язык и горячо залопотали разом на десятке племенных наречий.

На этот раз милиционеры были откровенно раздражены. Рыночных вьюнов они недолюбливали и при встрече всякий раз говорили им с имперским цинизмом: «Здорово, чёрные», — поэтому в «уазик» заталкивали артиллериста подчёркнуто корректно. Однако прежде чем захлопнуть дверь задка, усатый старшина не удержался и в сердцах всё же засветил стрелку табельной резиновой душой по рёбрам.

Между тем, отделённый от этих событий непрозреваемым пространством сада и двух городских кварталов, парень уже отвёл девушку в сторону от городошной площадки, обнял её и, сдув с девичьего лица сбившуюся русую прядку, поймал губами её губы. Девушка не сопротивлялась. Липа над ними, сверкая и лоснясь яркой зеленью, имела такой вид, будто её только что выдумали.

Когда поступило сообщение о следующем происшествии (на этот раз — две голые девицы с одним далматинцем на поводке), факт вероломного заговора уже не вызывал сомнения ни в сержантском, ни в старшинском, ни в офицерском звене. Участок охватила лёгкая паника, и начальник отдела поспешил доложить о сложившейся оперативной обстановке в главк.

— Что за хрень, подполковник?! — дала раздражённую отповедь трубка. — Одни бандитов ловят, а другие сопли глотают, булки мнут и лапки воробьям выкручивают! Это что за стриптиз, понимаешь?! У вас там Африка, чтобы голыми гулять?! Развели бордель! Дефиле беспорточное! Наведи порядок, подполковник, и чтоб я больше о твоих голожопых не слышал!

Начальник отдела отпрянул от трубки, как от брызнувшей крови. С этой минуты он стал смотреть на поразившую его участок заразу *сквозь сжатые зубы*, словно злой подросток. Спустившись из кабинета в приёмную часть, он так надвинул нарушителю в фуражке околыш на уши, что те, распухнув и налившись пунцовым соком, вяло обвисли у мерзавца по бокам лица. Однако это был всего лишь жест отчаяния — подполковник выпускал пар. «Был бы дубом, — грустно подумал начальник отдела, уже сожалея о рукоприкладстве, — спал бы сладко, жил бы долго, был бы крепким...» Он знал, что от стыдных воспоминаний люди начинают разговаривать сами с собой вслух, и не хотел на старости лет прослыть олухом. Тем не менее защита пошатнувшихся устоев определённо требовала твёрдой руки.

Подчинённым был отдан приказ действовать жёстко — давить крамолу, как вошь на гребешке... Но что они могли поделать? Голые продолжали неумолимо идти по улице Марата, как майская корюшка идёт Невой на икрот. Работа 28-го отдела милиции была парализована настолько, что в четырнадцать часов двадцать семь минут одиннадцатый по счёту негодяй, шею которого украшала трудоёмко накрученная *арафатка*, дошёл до Семёновского плаца беспрепятственно. После этого парад голых разом прекратился, а к участку подъехал микроавтобус со съёмочной бригадой новостей канала «100 ТВ» и старенькая «мерседес», в багажнике которой лежали две сумки, туго набитые одеждой задержанных.

Обрадовавшись долгожданному (казалось, это никогда уже не кончится) завершению кошмара, подполковник не стал вдаваться в детали идейного содержания акции, о котором бойко вещала в микрофон бесстыжая молодёжь, — под прицелом телекамеры он велел выписать всем смутьянам предупреждение об административном правонарушении и гнать из участка в три шеи, поганой метлой, на все четыре стороны... Что и было прилежно подчинёнными исполнено.

Вечером того же дня, приятно нагруженный впечатлениями от накрашенных холстов, городского турнира и зоологически подкованной девушки (её звали Настя), чей язык во время затяжного поцелуя шуровал у него во рту, как язык муравьеда в термитнике, парень (его звали Егор) смотрел по телевизору в новостной программе репортаж об эксцентричной гражданской акции в защиту Семёновского плаца от грозящей ему уплотнительной застройки. Показали задержанных милицией голых людей, говорящих отважные речи (поскольку оператор был мужчиной, в кадре по преимуществу мелькали голые девицы с далматинцем), после чего последовал пространный комментарий гладко причёсанной телекорреспондентши.

— Когда Санкт-Петербургу вернули его имя, город Ленинград стал медленно и неотвратимо таять, — с холодным обаянием сообщила корреспондентша. — А между тем в обыденной материальной культуре нашего города советских времён было много своеобразного, печального очарования. Эти пышечные, пирожковые, пельменные... эти пивные ларьки, магазины старой книги, дворцы и дома культуры, под завязку набитые всевозможными кружками и театральной самодеятельностью... — Пирожковых, ларьков и кружков Егор, по причине возраста, помнить никак не мог, од-

нако, частично являясь свидетелем освещаемых событий, слушал комментарий внимательно. — Всё это уходит в никуда. Дворец культуры Первой пятилетки, нашу «пятилеточку», как ласково называли её многие, детьми ходившие туда в кружки и смотревшие там выступления чудесного «Комик-треста», снесли. Пирожковая на углу Литейного и Белинского, где не одно поколение студентов уплетало вкусные и дешёвые пирожки, закрыта. Столь же славная пирожковая на углу Садовой и Гороховой — тоже. Закрыт знаменитый «Букинист» на Литейном — приют добродушных маньяков-библиофилов. Закрыт «Сайгон». Закрыт пивбар «Висла». Опустили витрины «Художественных промыслов» на Невском... А сейчас, вслед за Ленинградом, тает и сам Петербург. Напротив собора Владимирской иконы Божьей Матери возвели в московско-вавилонском стиле зеркальное аляповатое чудовище с ротондой на крыше. Нет половины скверов, где мы гуляли в детстве, а оставшаяся половина трепещет и ждёт неминуемой участи: из каждого сантиметра исторического центра будет выжата прибыль. На глазах исчезает наша родина, наша память, наша жизнь. Казалось бы, о чём грустить? Всё так прекрасно! Сияют витрины дорогих бутиков, бурно размножаются сетевые магазины-монстры... Всё как у всех, всё как у больших. По мнению администрации — очень мило и европно. Это главная идея сегодняшних властей Петербурга — чтобы было европно. Но были ли эти люди вообще в Европе? Видели они маленькие магазинчики и лавочки, которым по двести-триста лет? Прикасались к вековым деревьям в центре столиц? Ступали по камням, покой которых никто не смеет нарушить? Городская среда Петербурга изменяется только в одном направлении — к худшему, и изменяется не каждый день, а каждую минуту. Вот сейчас, пока идёт наша передача, где-то срубают дерево, закрывают магазин, застраивают какой-нибудь милый уголок непарадного, трогательного пейзажа. Ужасное дело: потерять родину, не покидая родины... Но сегодня гражданское общество выходит из спячки. Административная идея сноса ТЮЗа и застройки Семёновского плаца ресторанами и доходными высотками вызвала бурный протест горожан — несогласие с решением Законодательного собрания явилось причиной и сегодняшнего экстравагантного шествия. Мы понимаем этих людей — они не хотят оставаться безучастными к судьбе родного города. Но что они могут сделать, если к их мнению администрация никогда не прислушивалась и не намерена прислушиваться впредь? Возможно, сегодняшняя акция-эксцесс заставит задуматься депутатов ЗАКСа и алчных чиновников о судьбе города, в котором они ведут себя как варвары-

завоеватели. Да, в Ленинграде, конечно, было плохое, ненужное, вредное, пошлое, но было и хорошее, ценное, поэтическое... По давнему обычаю уничтожают именно хорошее. Спешите, господа! Приезжайте, срочно приезжайте в наш город — особенно если вы когда-то были молоды, влюблены и при первой возможности бежали в Ленинград проветриться на его балтийском сквозняке. Город вашей памяти исчезает.

Егору комментарий понравился — он не знал, что телевизионная женщина просто с собственными вариациями пересказала недавно прочитанную в «Elle» статью публицистки Москвиной. Знай он об этом, комментарий ему всё равно бы понравился, но его признательность за выбор подходящих слов была бы адресована другому человеку.

2

В действительности возмущение административными планами истребления Семёновского плаца послужило лишь удобным прикрытием дерзкого демарша. Цель его была совсем, совсем иной...

Идея принадлежала Роме Ермакову — человеку из породы вечно молодых людей, лишённых склонности к определённому роду занятий. Некогда, после трёх курсов университета и двух лет армии, в качестве богемного персонажа он подвизался в «Галерее-103», благоденствовавшей в шальные времена перемен на приснопамятной Пушкинской, 10, потом какое-то время мотался по свету, потом вернулся, пописывал что-то в матовый журнал «Красный», пока тот не обанкротился, потом работал рецензентом-ридером в одном помойном издательстве, а в качестве приработка криминально приторговывал для узкого круга знакомых травкой. Исключительно в силу неброской, но изысканной аллитерации, заключённой в его имени и фамилии, товарищи звали Рому Ермакова Тарарам. Именно он, Рома Тарарам, в расшитой бисером шапочке на голове первым вышел сегодня голым на панель улицы Марата.

Сейчас Тарарам зарабатывал себе на чай с карамелькой тем, что служил посыльным в цветочном тресте «Незабудка», — Рому сразу прельстило это место, поскольку он был твёрдо уверен: добрых вестников не убивают, а наоборот — могут даже налить. Именно в тресте «Незабудка», где, ожидая в похожем на оранжерею торговом зале, когда флорист изобретёт букет, заказанный для доставки по очередному адресу, Тарарам вдыхал ароматы роз, благоухания хризантем, зелёный запах гиацинтов, гвоздик и тюльпа-

нов, а также душистые аккорды сонма других цветов, названия которых были Роме не известны, в голову ему пришло соображение весьма необычного свойства.

Рому уже давно тяготило скверное состояние мира, которое почти полвека назад было описано ситуационистом Ги Дебором как презренное общество зрелища, общество спектакля. Он чувствовал себя чужим в обывательской вселенной маленьких людей, эврименов, добровольно, за чечевичную похлёбку в виде пресловутого «голубого экрана», отказавшихся от реальности в пользу сфабрикованного массмедиа постоянно действующего миража. Роме было неприятно видеть, как чувства этих людей заменялись имитациями чувств, рассудок — механическим повторением клишированных истин, мечты и стремления — симуляцией подлинных желаний, спровоцированной гипнотическими средствами медийного арсенала. Оглядываясь вокруг, Тарарам с каждым разом всё острее сознавал, насколько непреодолимо плоскость наэлектризованного, притягивающего пыль стекла отделила людей друг от друга, отделила от осязаемых вещей, родных просторов, стадионов, улиц, событий, приключений, властей — от всего, что происходит по ту сторону экрана. Получалось, что у человека как-то незаметно, исподволь, украли действительность, заперев её в застеклённый ящик.

Тарарам был твёрдо уверен: как отдых не является работой, так зрелище не является жизнью. Из этой незамысловатой истины неумолимо следовал категоричный вывод: современное общество («бублимир», как называл его Рома — проедаемый мир-бублик, сверхнасушным достоинством которого является именно дырка, холодное ничто, но дырка приукрашенная, дырка-экран, всё время расцвеченная какой-нибудь очередной иллюзией; то, что это именно пустота, небытие, а не концентрация жизни, становится понятно, когда человек в эту дыру прогрызается) — это общество отрицания жизни. Но не через испытание, очищение, самоотвержение и смерть в жизнь вечную, а через какой-то липкий, навязчивый, обволакивающий сон наяву. Своеобразная версия «Матрицы»... Стоило бегло посмотреть по сторонам, чтобы тут же убедиться: теперь человек по большей части не живёт, не работает и не отдыхает, а только смотрит, как живут, работают и отдыхают в телевизоре (дырке бублика) другие. Однако довольно было сменить беглый взгляд на более внимательный, чтобы сразу выяснилось, что и это не так — те, в телевизоре, на самом деле тоже не живут и не отдыхают, они лишь старательно симулируют то и другое,

безотчётно, не щадя сил тянут незримую бурлацкую лямку, протаскивая в опустошённую явь какую-то тотальную, всепоглощающую иллюзию. Рому поражала эта фантастическая картина будней.

В студенческие годы Тарарам почитывал труды Эриха Фромма, который, ловко микшируя Маркса и Фрейда, описывал суть буржуазного миропорядка как переход *бытия* в *обладание*. Тогда уже Рома чётко осознал, что роковой шекспировский вопрос «быть или не быть» страшно устарел для мира, в котором ему выпало родиться, поскольку по своей постановке он являлся вопросом трансцендентальным, выходящим за рамки доступного опыта, вопросом, вызванным трагическим сомнением в собственных силах, в готовности и возможности осуществить возложенную на человека свыше миссию. Это был вопрос гордого и мятущегося духа, на него отваживались избранные, лично ответственные за ход истории перед лицом *бытия*. Главный выбор буржуазного общества, общества, соблазнённого вульгарной/продажной свободой (свобода, как и любовь, бывает Уранией и Пандемос) и одурманенного пьянящей властью капитала, Фромм сформулировал иначе: «быть или иметь». Возможность *не быть* ушла за скобки, поскольку теперь человечество паслось на поле сугубо материальной определённости. В этой дилемме *быть* — значило стремиться изнутри вовне, значило отдавать, дарить, расточать, как светило, как божество, как мужчина. Вернер Зомбарт, которого Рома тоже почитывал в студенческую пору, называл такой выбор «путём героя». В свою очередь, *иметь* — значило стремиться извне вовнутрь, значило брать, копить, присваивать, красть, как прохвост, как деляга, как посредственность, как срань Господня. Этот путь Зомбарт называл «путём торгашей».

Буржуазный мир держится на торжестве корыстного *иметь*. Однако в бублимире, в новом мире заэкранной реальности исчезает даже оно, это сквалыжное *иметь* — здесь всё покрывает туман неуловимой мнимости. Рома исподволь сознавал, что в подsunутом эврименах мираже речь теперь идёт не о накоплении и присвоении, а лишь о любовании уже накопленным и присвоенным, — но не вами, господа, всегда не вами, а каким-то неопределённым призрачным субъектом, с которым каждому следует стремиться себя отождествить. Непременно следует. И это навсегда, потому что, как ни стремись, тождество недостижимо. Таково необходимое условие навешенного морока — новоявленного общества потребления иллюзий. В бублимире человек изо дня в день обречён смотреть бесконечный сериал об обладании, потребляя уже не вещи, но их визуальные имитации — эталон-

ные образы, имиджи, рекламные химеры... Тут обретали смысл даже бессмысленные в иных обстоятельствах сентенции вроде «жизнь прекрасна» или «жить хорошо» — ведь жизнь на самом деле превратилась в эрзац подлинной жизни, подделку, точно так же нуждающуюся в рекламе, как лак для волос, выдерживающий торнадо, или напиток «Фиеста», вызывающий приступ немотивированного смеха.

Рома не хотел погружаться в мираж, предъявленный дыркой бублика, в эту источающую наркотические миазмы трясину, он хотел пройти по жизни путём героя. Как ему казалось, он не то чтобы имел в своём характере необходимые для исполнения подобной миссии черты, но попросту был для этого пути рождён. Причём его совершенно не устраивала роль героя на экране. Он хотел быть героем помимо экрана, вне его — быть героем похищенной и вновь обрётённой реальности.

Вместе с тем Тарарам понимал, что в зависимость от массмедиа попал сейчас не только пресловутый эвримен, но и его пыжащийся оппонент — противостоящий маленькому человеку в рамках всё того же *общества спектакля* человек элиты. Ведь сегодня и ему удаётся приобрести авторитет и вес лишь в том случае, если он становится персонажем застеклённого вертепа — телеведущим, гостем программы, действующим лицом репортажа — или каким-то иным способом попадает в ту самую треклятую телевизионную картинку, которая теперь единственно и обладает статусом действительности. Такой путь Рому категорически не устраивал — это была игра по правилам отвергаемого им мира.

Какой же следовало стать стезе героя, кроме того, что по определению это должна быть стезя нестяжания? Вплоть до нестяжания иллюзий. Рома мучительно над этим думал. Собственно, всю его жизнь, за исключением редких позорных моментов, когда он подростком крал у родителей мелкие деньги, плюс несколько других, более поздних эпизодов, вполне можно было считать образцом нестяжания. Но Тарарам понимал, что этого явно недостаточно — траектории его пути не хватает дерзости, не хватает сверхзадачи и безудержности порыва. В свои тридцать восемь Рома остро осознал, что с этим надо кончать.

На первый взгляд несоответствие его нрава собственным тайным притязаниям было налицо, однако в данном случае доверять первому впечатлению как раз не стоило — при ближайшем рассмотрении несоответствие оказывалось ложным. Те люди (паладины художественного жеста), в среде которых Рома некогда вращался, сам будучи частью той среды, имели столь

могучий потенциал неброского бесстрашия, столь мощную веру, что жизнь принадлежит им и только им, что в своё время, окрылённые идеей ковчега свободного искусства, смогли вытеснить из облюбованного сквота на Чайковского (НЧ/ВЧ), а потом и из сквота на Пушкинской, 10 и воровские малины, и наркоманские притоны, и пахнущие камамбером бомжатники. В жизни правит непреложный закон: кто ссыт — тот гибнет. Богема не боялась городского дна, потому что ей нечего было терять, кроме неосуществлённых замыслов и неизведанных соблазнов, — у неё не было даже цепей. Ни галерных, ни золотых *пацанских*. Поэтому эти люди побеждали. Братство давно распалось — одни ушли в коммерцию, другие спились, сторчались или просто дали дуба, третьи, не найдя себе места в остывающем универсуме, впали в спасительную полуспячку. Тарарам был из последних, он по-прежнему нёс в себе тлеющие угли всепожрающего бесстрашия, которым утихший вихрь общественных метаморфоз просто не позволял разгореться. Стало быть, надо раздуть их самому. Эта нужда и томила.

Итак, для выправления личной судьбы следовало выяснить, насколько устойчив окружающий мир, каков ресурс его защиты против таких, как он, Рома Тарарам, инсургентов, в силу неведомых причин не вписавшихся в программу. В торговом зале «Незабудки», глядя на благоухающую флору, Тарарам подумал, что пробным камнем, брошенным в огород системы соблазна, могло бы послужить протестное движение, выступающее, скажем, под лозунгом «Вегетарианцы! Прекратите геноцид растительного мира!», однако эта мысль была им отвергнута как недостаточно разящая. Следующая идея, толчком к которой послужил висящий на стене за развесистым фикусом календарь с физиономией Аршавина, заключалась в формировании боевой скотозащитной организации, выступающей (возможно, в союзе с ненавистницей пушнины Бриджит Бардо) за бойкот и запрет футбола, поскольку лучшие футбольные мячи, как известно, шьются из каракуля, пусть и мехом внутрь. Но этот проект требовал внедрения в информационное поле той самой системы соблазна, которая, собственно, и вызывала тошноту. Уж если *картинка* в дырке неизбежна, то терпеть её следует лишь в форме побочного результата, неминуемого, но ничтожного следствия, которым вполне можно пренебречь, а никак не в качестве средства для достижения цели.

Несколько следующих идей при их критическом рассмотрении оказались столь же уязвимыми.

Однако стоило только какой-то тихо журчащей в торговом зале FM-станции завести былинную «Come Together», как мысли Тарарама пе-

Содержание

Мёртвый язык	5
Глава 1. В тени «Незабудки»	7
Глава 2. Сердца четырёх	21
Глава 3. Разговоры	43
Глава 4. Бог театра	55
Глава 5. Душ Ставрогина	75
Глава 6. Разговоры-2	90
Глава 7. Abeunt studia in mores	108
Глава 8. Пятница, вечер	128
Глава 9. Разговоры-3	138
Глава 10. «Тарарамушка, милый...»	153
Глава 11. Зиму везут	167
Глава 12. Мир-паразит	190
Глава 13. Разговоры-4	196
 Железный пар	 197
 Яснослышащий	 339
Увертюра	343
Действие первое. Оглашение мира	348
Действие второе. Musica ficta	367
Действие третье. Одичание	397
Действие четвёртое. Сверхзвуковая	425
Действие пятое. За мёртвой водой	454
Действие шестое. Переозвучка	486
Кода	504
 Благодарности	 506